

A. P. ...

...

...

Станюкович К.М. Собр.соч. в 10 томах. Том 9 //Издательство «Правда»,
Москва, 1977
FB2: "Ustas ", 2006-09-30, version 1.0
UUID: 7189EDC6-1B7F-43F0-A3CD-0E061CF7A300
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

Дуэль в океане

Содержание

#1	0005
I	0006
II	0009
III	0014
IV	0020
V	0027
VI	0039
VII	0044
VIII	0048

**Константин Михайлович
Станюкович
Дуэль в океане**

Станюкович К.М. Собр.соч. в 10 томах.

— Том 9. — М.: Правда, 1977.

OCR & SpellCheck: Zmiy (zmiy@inbox.ru), 28
марта 2003 года

—

Этот длинный переход из Фунчала [1] в Батавию на Яве, без захода в Рио [2] или на мыс Доброй Надежды, начинал очень надоедать обитателям русского военного корвета “Отважный”.

Вот уже двадцать пять дней, как океан да небо, небо да океан без конца.

Они, конечно, были прелестны и ласковы в северных тропиках. О, как прелестны!

Солнце, ослепительно красивое, всегда заливало жгучим блеском тихо рокочущий океан с его ласковыми, невысокими волнами. Луна так таинственно-задумчиво глядела с бархатистого неба, и под ее серебристым светом волшебные южные ночи становились еще волшебнее. Мириады звезд так ласково мигали...

Но все-таки океан да небо, хотя и не угрожавшие морякам штормами, казались однообразно прелестными и надоедали людям, привязанным к земле.

И как безмолвно, пусто кругом!

Изредка забелеет парус встречного или по-

путного судна... Обменяются приветствиями, поднятием флага и разойдутся, или “Отважный” обгонит попутного “купца”.

И снова “Отважный” идет да идет под всеми парусами, легко и грациозно поднимаясь с волны на волну, в одиночестве.

Реяли в высоте орлы океана — фрегаты. То летали над водой, то опускались на нее белоснежные альбатросы за рыбой и снова улетали, скрываясь от глаз. Порой, вблизи, показывал черную спину кит, выпускал высокий фонтан воды и исчезал. В прозрачной синеве океана показывались акулы с лоцманами у борта и удирали, не пронзенные острой какой-нибудь охотника-матроса. Часто на солнце сверкали летучие рыбки.

Все это пригляделось.

И кончились благодатные тропики, где вахты матросов такие покойные, и так хорошо дремлетя под лаской вековечного пассата, и так слушаются сказки, если еще есть новые у матроса-сказочника.

“Отважный” проскочил под парами штилевую полосу у экватора, прошел южные тропики, спускался все ниже и ниже, где ветер

уже не шутил и дышал ледяным дыханием южного полюса, и повернул в Индийский океан, чтобы с попутным муссоном подняться на Яву.

Индийский океан уже гневно рокотал и порой бешено вздымался заседевшими громадными волнами, нападавшими на маленький корвет. Ветер выл и завывал в мачтах и снастях, стараясь опрокинуть “Отважный”. Солнце пряталось под черными клочковатыми облаками, и без него шторм казался еще страшней и грозней, одиночество — еще безотраднее.

И со спущенными брам-стенями и под штормовыми парусами “Отважный”, казалось, метался, словно затерянный и обреченный на гибель.

Но крепкий корвет не давался грохотавшему, бесновавшемуся старику-океану. Он стремительно взлетал на волны и опускался с них, отряхиваясь, словно громадная птица, от гребней волн, врывающихся на бак. Он вздрагивал от ударов волны и уходил от смертельного савана. Злобная, она обрушивалась сзади кормы.

И капитан, строгий и напряженный, не спускавший возбужденных сверкавших глаз

с носа “Отважного”, только покрикивал в ру-
пор рулевым у штурвала под мостиком:

— Не зевать... Право... Так держать!

Шторм улетал дальше. Матросы облегченно крестились. Капитан уходил в каюту отсыпаться.

Было в океане только “свежо”, как говорят моряки про сильный ветер, не доходящий до силы шторма.

И “Отважный” под зарифленными парусами, раскачиваясь с бока на бок, несся в бакштаг узлов по двенадцати.

Только будто седой бурун с шумом рассыпался под носом “Отважного”, и он вздрагивал и поскрипывал от быстрого хода.

Вахтенный офицер наблюдал за рулевыми. Стоял на мостике и старший офицер... Как бы не оплошал молодой мичман!

Кругом все то же. Океан да небо, то грозные, то милостивые, но ни разу не ласковые.

— “Очертело!” — все чаще и чаще говорили на баке матросы.

“Лясничали” реже и только отрывисто, и более насчет “подлого” Индийского океана, который ни одной частицы ночи не дает вы-

спаться подвахтенным. Непременно боцман крикнет: “пошел все наверх!” — то к повороту, то рифы брать.

— Очертеет!.. На то и служба такая! — говорил какой-нибудь из старых матросов.

— Еще, слава богу, командир правильный...

— А Петра Васильич, что и говорить... Андел! — замечал кто-нибудь о старшем офицере.

И обыкновенно любимые разговоры на баке о качествах того или другого начальника на “Отважном” или воспоминания о злых и строгих, и не злых и понимающих матроса начальниках, с которыми прежде служили рассказчики, — теперь не поднимались. И шуток было не слышно.

Все стали напряженнее и молчаливее.

Только молодые матросики из первоходов тоскливее вспоминали о далекой родной стороне и чаще задумывались об опасностях морской службы.

— Кругом вода! — с тоской говорил один белобрысый матросик с большими серыми глазами, который все еще не мог привыкнуть

к морю, хотя и старался изо всех сил делать, что приказывали, чтобы боцман и унтер-офицер не ругали и не били его.

Только не били бы! И, главное, чтобы не наказали линьками!

Старый боцман Корявый, “околачивавшийся”, как он говорил, во флоте двадцать лет и после всяких видов сделавшийся большим философом, обыкновенно дрался “с рассудком” и “жалеючи”, как говорили про него матросы.

Но и он становился раздражительней и дрался вовсе без рассудка, словно бы в отместку за долгое ожидание напиться на берегу “во всей форме”, как называл он возвращение с берега в лежку и поднимание на палубу при помощи более трезвых матросов, а то и на гордешке.

— За что зверствуешь, Митрич? — спрашивал его приятель, старый матрос, вместе обыкновенно пьянствовавший на берегу.

— То-то от скуки... Пойми... Когда еще берег...

— А ты бога вспомни. Обижаешь, Митрич, безответных... первогодков... Нехорошо, бра-

тец! — серьезно и в то же время душевно убеждал боцмана маленький и сухощавый матрос Опорков с добрыми, словно бы винюватыми глазами человека, понимающего, что он пропоец и не раз даже пропивал на берегу все казенное платье и возвращался в одной рубахе, а на другой день покорно ждал линьков.

— И бога помню, когда в понятии.

— Войди...

— А ты не лезь, Опорков... До берега не буду в понятии... Пойми и не серди боцмана! — сердито оборвал приятеля боцман.

И Опорков отходил.

Сам он “заскучивал” по берегу, как и боцман. Необыкновенно добрый, он все-таки остановил на другой день боцмана и просил пожалеть людей.

— Потерпи. Зато, Митрич, как берег... Одно слово — вдребезги! — прибавлял Опорков.

В кают-компании тоже все чаще и чаще раздавались недовольные восклицания скучающих офицеров:

— Скорей бы на берег!

— Тощица!

— Хоть бы по-человечески поесть, а то сиди на консервах!

— Обязательно выйду в отставку!

Каждый из восклицавших не ждал лично сочувственных реплик и не продолжал жаловаться на скуку. Надоели все друг другу.

Почти каждый день после полудня, когда старший штурман, доложивши капитану полуденную широту и долготу места “Отважного”, возвращался из капитанской каюты, мичман барон фон-Рейц, белобрысый молодой человек, с скучающим добродушным лицом невозмутимого флегматика, спрашивал о чем-нибудь плотного и крепкого, маленького, лысого, с седыми бачками и усами, старшего штурмана.

И в этот день он невозмутимо спокойно спросил:

— Скоро в Батавию, Афанасий Петрович?

— Я не бог-с! Я штурман-с, барон.

— Я это знаю, Афанасий Петрович... Но однако?

— И однако не знаю-с! Эй, вестовые! Начерно рюмку водки!

— Сколько осталось миль, Афанасий Петрович?

— Это знаю-с. Тысяча шестьсот двадцать миль! — любезнее ответил Афанасий Петрович и с удовольствием выпил рюмку, крякнул и закусил куском хлеба с сыром.

— Значит...

И барон, не спеша, говорил про себя цифры.

— Значит, через десять дней мы будем обедать в Батавии, Афанасий Петрович! — уверенно произнес барон.

Обыкновенно сдержанный и скупой на слова в море, Афанасий Петрович становился нервней в конце перехода, особенно когда ему говорили подобные “сапоги всмятку”, как подумал старый штурман про слова барона, да еще мальчишки и с таким апломбом.

И без того достаточно красный и от полно-

кровия и, быть может, от лечения его специально портвейном, Афанасий Петрович делался еще красней, хмурил свои седые густые брови и не без раздражения замечал:

— Значит, что пристяжная скачет.

— Вы, Афанасий Петрович, с предрассудками.

— То-то вы без предрассудков, барон. Вам, конечно, известно: будет ли шторм или не будет-с, прихватит ли ураган или не прихватит-с. Стихнет ветер, и мы поползем по три узла-с... Одним словом, вы все знаете-с и через десять дней будете обедать в Батавии, а я не собираюсь на берег, пока не бросим якоря...

Барон равнодушно выслушал и, когда старый штурман окончил, протянул:

— Да вы не сердитесь, Афанасий Петрович...

— Очень нужно сердиться.

И в кают-компании снова была тишина.

Прежнего оживления уже не было. Разговоры иссякли. Еще недавно общительные люди становились молчаливыми и более чувствительными к шутке, если мичман Загор-

ский, enfant gate [3] кают-компании и веселый рассказчик анекдотов, пробовал пошутить. Но, главное, все стали относиться друг к другу с большей критикой. Сослуживцы, замечавшие прежде немало хороших сторон друг в друге, невольно старались заметить теперь дурные. Споров не было. Если и поднимались, то принимали ожесточенный характер, и старший офицер Петр Васильевич, человек необыкновенно миролюбивого характера и боявшийся, как огня, дразг, ссор, словом, какой-нибудь “истории” в кают-компании, — торопился прекратить спор или разводил спорщиков, находя надобность с одним из них поговорить о чем-нибудь по службе.

Заниматься чем-нибудь, кроме службы, и отвлекаться запросами и решениями пытливой мысли большая часть офицеров на “Отважном” не привыкла. Только Петр Васильевич умел наполнять свою жизнь постоянными служебными хлопотами, и делами, выдумывая их, если их не было. Да молодой доктор, казалось, не скучал, хотя больных на корвете и не было. Он целыми днями читал или

писал длиннейшие письма к своей молодой жене, с которой расстался через год после свадьбы, и старался разгонять тоску по любимой женщине в серьезном чтении и в передаче ей своих заметок и впечатлений о первом своем плавании.

Остальные не знали, куда девать время после вахт и коротких учений. Книги в маленькой библиотеке корвета все прочитаны. Новых береговых впечатлений, объединяющих разные характеры, темпераменты, взгляды и привычки семнадцати человек, — не было.

Все изнывали и раздражались до озлобления в ожидании берега.

Даже и “Макарка”, веселая обезьяна, купленная в Фунчале, что-то притихла: не носится, как оглашенная, по корвету, не взбегает на верхушки мачт, не дразнит старого добродушного водолаза “Умного” и не фамилльярничаёт с матросами в качестве общей любимицы.

“Макарка” часто сидит на борту и грустно поглядывает на океан, точно ожидает увидеть берег с его роскошным лесом, полным кокосов, о которых, по-видимому, она еще

помнит, несмотря на то, что уже два года как вывезена из Африки и попала на Мадеру пленником.

И “Умный”, казалось, скучает по берегу. Словно чувствуя, что к нему люди стали равнодушнее, чем раньше, “Умный” больше отсыпается на припеке и во время авралов и учений удирает в кают-компанию, чтоб не попасться на глаза боцману, который в это время может обидеть и “Умного”, хотя он и знает, что такое палуба на военных судах, и, как сообразительная собака, понимает свои обязанности.

IV

Петр Васильевич становился озабоченнее. Настроение в кают-компании ему не нравилось, смущало и беспокоило его.

“То и дело выйдет какая-нибудь история!” — думал он.

Всю свою тридцатипятилетнюю жизнь провел Петр Васильевич миролюбиво и по совести, очень чуткой у него. Ни с кем не ссорился и умел ладить с самыми разнообразными людьми во время службы, но не из искаательства или карьерных соображений, а просто потому, что был необыкновенно снисходителен к ближним.

Он был исправный служака, хороший моряк, но блестящих качеств не выказывал и нес служебную лямку, не рассчитывая на заметную карьеру. Зато и офицеры и матросы очень любили Петра Васильевича.

Этот, не особенно стройный, небольшого роста, худощавый блондин с длинными бакенбардами, всегда хлопотливый и заботливый и об “Отважном” и о матросах, привлекал необыкновенной простотой и особенно

каким-то добросердечием к людям, которое светило в его глазах.

Строгий ревнитель служебного долга, Петр Васильевич требовал службы. Но не столько понимал, сколько чувствовал, что трудная матросская служба не должна быть каторгой, и он не требовал муштры, не дрессировал людей, чтобы из них выходили “черти”, как называли старые моряки матросов, поражавших бесцельной быстротой работы на учениях и ожидавших, из-за полминуты отдачи или уборки парусов, беспощадного наказания.

И на “Отважном” не было того трепета команды, какой бывал на многих судах при каждой работе и при каждом учении. Не было оскорбительных наказаний, и редко, очень редко раздавались на баке крики наказываемого линьками матроса.

Случалось, что в минуты служебного пыла и Петр Васильевич наскокивал на матроса, вовремя не отдавшего марса-фала или сделавшего такую же серьезную служебную провинность. Наскакивал и, случалось, ударял...

Но через пять минут он подходил к матро-

су и, словно извиняясь, говорил:

— А ты, братец, вперед отдавай марса-фал... Я за дело ударил... И ты не обижайся...

И хоть матрос и говорил, что не обижался, но Петру Васильевичу все-таки бывало не по себе. И он давал себе слово сдерживаться...

Но особенно сдержан и терпим был Петр Васильевич в своей неудачной семейной жизни, что не было секретом в Кронштадте. Все видели, с какою безграничною и в то же время робкою любовью на лице входил он в морское собрание, под руку с молодой, привлекательной женой; все знали, что Лидия Викторовна обманывает его.

И, разумеется, все считали Петра Васильевича “форменным” простофилей, у которого глаза слепы.

Как ни прост и снисходителен он, как ни любит свою жену, все-таки разве мог бы жить под одной кровлей с такой “дамочкой”, которая только позорит его, если бы он был не такой “фефелой” и мог бы догадаться о том, что знает весь Кронштадт. Давно бы следовало прогнать эту “особу” и отнять у нее их трех-

летнего сына.

Так рассуждали моряки, даже и те, которые ухаживали за Лидией Викторовной и вместе с ней старались обманывать мужа.

Но никто не знал, что Петр Васильевич не только догадывался, но и знал, что любимая им женщина обманывает, и он не только не подумал “прогнать” жену, но даже скрывал от нее, что знает, никогда не упрекнул ее и, тая про себя обиду и ревнивую жгучую боль, был по-прежнему ласков с ней и только через год после свадьбы переселился в кабинет и оставался только другом и пестуном своей жены.

Любящее сердце подсказало Петру Васильевичу только один исход из своего положения. Не станет же он поднимать “историю”, да еще в своем домашнем очаге, не оскорбит он женщины и не сделает ее более несчастной и опозоренной, если, оставленная, она пустится во все тяжкие.

И Петр Васильевич, казалось, привык к положению мужа с обязанностями, но без прав, и не понимал даже своего героизма любви и самоотвержения.

“Чего ссориться нам? Разве она виновата,

что год любила, а потом разлюбила? Если скрывает от меня, значит, ей так нужно... Смею ли я выматывать ее признания? Ведь это жестокость!”

Так нередко раздумывал Петр Васильевич и, разумеется, находил в своем любящем сердце оправдание обидевшей его женщине.

И она с каким-то беззаботным легкомыслием вела прежнюю жизнь и, словно бы в благодарность, что он не ревнив и такой примерный нетребовательный муж, стала с ним мягка, любезна и, казалось, стала понимать, какое золотое у него сердце.

Как ни тяжело было оставлять жену на три года, Петр Васильевич, разумеется, не отказался от назначения старшим офицером на “Отважный” и порадовал молодую женщину хорошим содержанием в плавании, большую часть которого будет оставлять жене.

При разлуке он только просил писать ему и беречься...

— Не лучше ли переехать на юг, к твоим? — осторожно прибавил он, полный тревоги, что молодая женщина, живя одна в Кронштадте, навлечет на себя еще большие

сплетни.

— Ты хочешь? — спросила Лидия Викторовна.

— Тебе было бы лучше! — смущенно промолвил Петр Васильевич.

— То есть чем лучше?

— Ты была бы с близкими... И лучший климат...

Молодая женщина пытливо взглянула на Петра Васильевича. И ей стало жалко при виде соломенного мужа, его смущенного, словно виноватого лица, и ей самой сделалось вдруг стыдно. Покраснела и она.

И вдруг порывисто сказала:

— Ты не верь слухам, которые про меня распускают... Не верь. Я, право, лучше, чем говорят обо мне.

И слезы навернулись на красивых черных глазах Лидии Викторовны. И голос ее звучал тоской, когда она прошептала:

— Добрый... хороший ты...

Петр Васильевич едва сдерживал слезы и припал к маленькой руке с красивыми кольцами на мизинце.

В каюте Петра Васильевича оба молчали

несколько мгновений.

И наконец Лидия Викторовна чуть слышно спросила:

— Ужели ты все еще меня любишь?.. Понимаешь: влюбленно любишь?

— Люблю!.. — смущенно проронил муж.

— И такую?.. Ведь я виновата, виновата перед тобой...

— Ты не виновата, что не любишь меня. Ты права... Не говори ни слова!..

Молодая женщина в порыве раскаяния крепко поцеловала мужа, заплакала и решительно проговорила:

— Я уеду к своим на юг... Через неделю же уеду!..

В Бресте [4] Петр Васильевич получил первое письмо от жены из деревни на юге. Она писала, что останется у своих до возвращения мужа, и просила его чаще писать ей.

Дальнейшие письма Лидии Викторовны, длинные и ласковые, трогали и радовали Петра Васильевича, и, казалось, жизнь впереди сулила ему новое счастье.

Ровный попутный ветер гнал “Отважный” вперед, и суточное плавание его — миль около двухсот — словно бы оправдало предположения барона.

До Батавии оставалось тысячу миль. При благоприятных обстоятельствах дней через пять корвет должен бросить якорь, и, после шестидесятидневного перехода, моряки наконец поедут на желанный берег, получают вести от своих близких и газеты.

Петр Васильевич в этот день сидел за обедом в кают-компании на обычном своем почетном месте, на маленьком диванчике, и, по обыкновению, внимательно взглядывал на лица офицеров и старался разогнать мрачное настроение.

— Сегодня плавание отличное. Двести миль! Скоро, бог даст, и в Батавии будем! — говорил он, обращаясь ко всем. — И получим вести... И свежее мясо будем есть... И фрукты... В Батавии простоим недели две... Капитан говорил... И надо вытянуть ванты... И Афанасий Петрович хронометры проверит.

— Обязательно, Петр Васильевич! — проговорил старший штурман. — И вместе с вами, Петр Васильевич, поедем в ботанический сад... Возьмете с собой?..

— А то как же, Афанасий Петрович. И целой компанией поедем... Непременно. И что за природа там, господа! Очень хороша Батавия наверху, где голландцы понастроили виллы среди парка. Останавливаться надо в Hotel des Indes... Славно я там, господа, жил, когда плавал на “Нырке”...

— А теперь, видно, на неделю поедете на берег, Петр Васильевич? — спросил старший штурман, очень уважавший и привязанный к Петру Васильевичу, который не питал ни капли обычной в моряках нелюбви к “париям” морской службы — штурманам, механикам и артиллеристам. Старший офицер был, напротив, большой и старый приятель с Афанасием Петровичем и с ним съезжал на берег, и с ним нередко водил беседы, ничего общего не имеющие со службой.

С ним они говорили о смысле жизни, о религии, о необходимости иметь правила, и с ним же за обедом на берегу выпивали лиш-

нюю бутылку портвейна, особенно почитаемого Афанасием Петровичем. И оба они были очень скупы на траты на себя. У старшего штурмана была большая семья, которой Афанасий Петрович отдавал большую часть своего содержания, а Петр Васильевич отказывал себе во всем. Из того содержания, которое оставлял себе, большую часть берег, чтобы закупить в Китае и Японии разных вещей для жены.

— То-то на неделю не съедешь, Афанасий Петрович... Надо присмотреть за работами... А на три дня все-таки съеду... Погуляем по лесу... Хорошо в тропическом лесу, Афанасий Петрович! Ах, как хорошо!

И, несколько застенчивый, Петр Васильевич стеснялся при всех говорить о том, как он любит природу. Точно так же скрывал он от всех и свою платоническую любовь к жене и свои всегда рыцарские взгляды на женщин.

Петр Васильевич продолжал хвалить и местоположение верхней Батавии, и прогулки, и ананасы, и в то же время прислушивался к спору, вдруг поднявшемуся на конце стола между очень красивым брюнетом, лейтенан-

том Байдаровым, самомнительным и заносчивым человеком, считавшим себя и отличным моряком, и умным, и неотразимым для женщин кавалером, — и мичманом Витинным, которого в кают-компании все звали за его ласковый, добродушный характер и юность “Васенькой”.

Петр Васильевич уже чувствует возможность ссоры. “Васенька” горяченький, Байдаров, напротив, не теряет самообладания и любит холодно и оскорбительно-вежливо унижить человека, который не признает его авторитета и уже потому заслуживает высокомерного отношения.

И лицо Петра Васильевича, худощавое, с мягкими чертами лица, обрамленного русыми бакенбардами, испуганно встревожено. В необыкновенно добрых, лучистых серых глазах его стояло выражение смущения и страдания.

Он боялся крупной ссоры. Байдаров озлоблен. Васенька не спустит.

Но еще более тревожили Петра Васильевича презрительно-злые взгляды Байдарова, которые, во время спора с мичманом, он бросал

на кудрявого молодого инженер-механика Сойкина. Точно хотел он унизить в споре не столько своего оппонента, сколько Сойкина, который не ронял слова и в то же время бледнел, взглядывая, в свою очередь, на Байдарова.

Уже с самого начала плавания Петр Васильевич видел, что Байдаров не терпел Сойкина. Он никогда не разговаривал с ним и часто травил его, нарочно рассказывая при нем о неразвитости и “хамстве” инженер-механиков. Необыкновенно терпеливый, Сойкин не обращал на это ни малейшего внимания. Петр Васильевич не раз останавливал Байдарова и только удивлялся, за что Байдаров не любит Сойкина. Сойкин, кажется, славный, порядочный человек. Не желает играть какой-нибудь роли. Держит себя скромно и только в беседах с мичманами высказывал свои душевные взгляды и тогда внезапно загорался.

И Петр Васильевич с ласковой улыбкой поглядывал на матово-смуглое выразительное лицо Сойкина с его большими сверкающими глазами, толстым носом и крупными губами,

и слушал, полный сочувствия, его слова, дышавшие то искренним негодованием, то восторженностью юнца ко всему чистому, хорошему и благородному.

К концу перехода уж Сойкин не говорит а большую часть времени рисует. Он немного художник и мечтает по возвращении в Россию оставить службу и поступить в академию художеств.

Ненависть между Байдаровым и Сойкиным усиливалась. Один не скрывал ее, другой, казалось, не обращал внимания на презрительные насмешки и высмеивание Байдарова в разговорах с другими. Они не разговаривали друг с другом и только официально-сухо раскланивались при встрече в кают-компании по утрам.

Петр Васильевич уже раньше старался примирить их. Но все попытки ни к чему не привели. Петр Васильевич взял только с Байдарова обещание не издеваться в кают-компании над механиками.

— Вы понимаете, что допустить этого в кают-компании не могу. Так не заставьте старшего офицера останавливать вас...

— Слушаю-с! — официально отвечал Байдаров.

— Я прошу у вас не официального: “слушаю-с”, Николай Николаич! Я вашего слова прошу. Перед вами не старший офицер, а товарищ... И... вы... извините. Не понимаю этого... ненавидите Сойкина...

— Слишком много чести для него... Я просто игнорирую его и не говорю с ним.

— Вижу, вижу, Николай Николаич... Вы многих не признаете... достойными. Простите: большая в вас гордыня... Но хоть не высмеивайте и не оскорбляйте Сойкина, Николай Николаич. Ведь и самого терпеливого можно вывести из себя, и... история. Он же останется виноватым... Вы — лейтенант, а Сойкин — прапорщик... Будьте великодушны, Николай Николаич!

Петр Васильевич просил так взволнованно, но горячо, что Байдаров обещал не быть виновником неприятностей для Петра Васильевича.

И старший офицер благодарил и успокоился. Истории не будет.

И вдруг теперь?

Сойкин бледен, как смерть. Наверное, Байдаров говорил что-нибудь нехорошее. Он ведь любит поражать оригинальностью бессердечных взглядов и травить мичманов... а механиков и артиллеристов считает чуть не идиотами, если они не молятся на него, как на божка. “А ведь дал мне слово... Какой несимпатичный человек!..”

А “Васенька” в эту минуту воскликнул, весь вспыхивая, со слезами на глазах:

— Ваша теория о женщинах безнравственна... позорна. Да... позорна. И вообще ваши взгляды... возмутительны... Я должен это сказать... Обязан... Мы, флотские, — аристократы, а другие — плебеи?! И матросы — рабы, а мы — живодеры? Нет... Неправда... Ретроградам скоро отходная...

— Прежде выучитесь говорить прилично и избавьте меня от ваших пылких излияний... Не обидно, а... неостроумно. Изливайтесь своим единомышленникам, — рассчитанно отчеканивал медленно и тихо Байдаров и с презрительной, уничтожающей усмешкой взглянул на Сойкина.

Петр Васильевич бросил котлету мясных

консервов и, стараясь побороть волнение, проговорил:

— Васенька! Ну что вы ершитесь... И то жарко, а вы... горячитесь... какой вы спорщик, голубчик? Вы все: “трах” да “трах”, а Николай Николаевич прехладнокровно разделяет вас для своего удовольствия... Как, мол, вы пижонисто волнуетесь... У Николая Николаича ведь оригинальные взгляды, а у нас с вами попроще-с... Так зачем зря входить в раж, Васенька, и выпаливать резкие слова, точно на ссору лезете... Скоро Батавия, а вы... В кают-компании и вдруг ссоры... Нечего сказать, хорошо будет плавание на “Отважном”!.. Будьте снисходительны, Васенька... Ну, хоть для меня... ни гу-гу больше... Присаживайтесь-ка ко мне. Угощу лимонадом... Вы любите, Васенька... Вестовой! Василию Аркадьевичу лимонаду. И Степану Ильичу подать... Он любит! — говорил, слегка заикаясь от волнения, Петр Васильевич и с тревожной лаской взглянул на бледного молодого механика. — И всем шампанского, за скорый приход. Одним словом, за мир и благоденствие нашей кают-компании!..

Петр Васильевич выдержал паузу и продолжал еще взволнованнее:

— А вы, Николай Николаич, уж слишком язвите Васеньку... За что-с?.. Вы все понимаете, а он ничего не понимает, так зачем его вызывать на спор... Это... это... И вообще...

— Что вообще, Петр Васильевич? — с преувеличенной почтительностью высокомерия спросил Байдаров.

— И вообще... Прошу вас, лейтенант Байдаров, не заводить в кают-компании предосудительных разговоров! — вдруг неожиданно для себя, точно от невыносимой боли, крикнул Петр Васильевич.

И лицо его побелело. Челюсти тряслись. И в глазах блестели слезы.

Воцарилось мертвое, напряженное молчание.

Почти все офицеры строго и неприязненно взглянули на Байдарова и, опустивши глаза на тарелки, стали усиленно есть, точно котлеты интересовали их более всего.

Только Сойкин не поднял глаз на Байдарова. Молодого механика подергивало точно в лихорадке.

А Николай Николаевич Байдаров еще выше поднял свою белокурую голову. Его красивое молодое лицо, свежее, румяное и холеное, безбородое, с шелковистыми небольшими усиками, и его голубые, блиставшие резким блеском глаза были дерзко вызывающие. На тонких искривленных губах блуждала усмешка. Маленькая рука с кольцом на мизинце небрежно играла цепочкой на белоснежном жилете.

Прошла минута, другая...

— Уходите, Николай Николаич, — шепнул сосед его.

Байдаров небрежно пожал плечами и тихо промолвил, кивнув на Сойкина:

— Этого... что ли, бояться?..

И едва Байдаров сказал это слово, как Сойкин неожиданно поднялся с места и, едва держась на ногах, крикнул каким-то сдавленным голосом:

— Вы подлец, господин Байдаров!

И в то же мгновение дал пощечину.

Все ахнули. Петр Васильевич замер от ужаса и стыда. Ему казалось, что он сам виноват и так позорно оскорблен.

Сойкин тотчас же стал спокойнее. Он подошел к старшему офицеру и дрогнувшим, робким, молящим голосом произнес:

— Простите, Петр Васильевич... Прикажите арестовать...

— О, голубчик... Что вы сделали?.. Идите в каюту под арест! — упавшим голосом ответил Петр Васильевич, не смея поднять глаз на Байдарова.

Байдаров хотел усмехнуться, и вместо улыбки лицо его искривилось болезненной гримасой. Он обвел позеленевшими глазами присутствующих, остановил долгий злой, смертельный взгляд на Сойкине, точно хотел запомнить его лицо навсегда. И, словно поняв весь ужас и позор оскорбления, вдруг поник головой и, закрыв свою горящую щеку, убежал из кают-компания.

Через пять минут он прислал старшему офицеру рапорт о болезни.

Петр Васильевич, подавленный и грустный, доложил капитану об ужасной истории...

— Добился-таки Байдаров пощечины! — сурово промолвил капитан. — Довел бедного Сойкина... Под суд пойдет... Славный молодой человек...

— И какой скромный... Терпел... терпел... Уж я просил Байдарова...

— Надо было, Петр Васильевич, раньше списать с корвета этого гуся... И мы оба с вами виноваты, что держали его...

— Виноват-с... Этакая история, Владимир Алексеич!

— Как бы Байдаров в Батавии не убил Сойкина на дуэли... Надо как-нибудь не допустить этой глупости... Не пускайте Сойкина в Батавии... И пусть он извинится перед Байдаровым в кают-компании... А Байдаров в Батавии же спишется и пусть едет в Россию... Не захочет, так я сам спишу.

— Сойкин, я думаю, согласится извиниться, да Байдаров...

— Не удовлетворится?

— Едва ли...

— Ну и пусть как знает... Он пощечину поделом получил... Еще удивляюсь, как раньше не получил этот наглец... Воображает, что дядя министр и отец адмирал... Ну, что делать... И вы не волнуйтесь, Петр Васильич. Знаю, какой вы сами миролюбивый... И скажите Сойкину, чтобы он не тревожился... Попрошу в Петербурге, чтобы не очень покарали...

— Сойкин и так собирается бросить службу... хочет в художники.

— Тем лучше для него... Успокойте беднягу...

— Слушаю-с, Владимир Алексеич.

— И с Байдаровым переговорите... Может, ваше миротворство на этот раз и вывезет...

Старший офицер ушел от капитана и зашел в каюту к старшему штурману.

Тот только что заснул полчасика после обеда и потягивал портер.

— История, Афанасий Петрович! — вздохнул старший офицер.

— Все плавание нам испортил этот брандахлыст... Аристократ!.. Верите, и у меня чесалась рука, чтобы запалить ему в морду... Пор-

терку?

— Ну его... Вы, Афанасий Петрович, портер, а тут...

— Что тут?.. Получи в морду и иди с корвета... Все перекрестятся!

— Он-то уйдет... Не уйдет, так капитан спит... А как бы нам Степана Ильича под суд не подвести... Байдаров на дуэль вызовет...

— А он не иди... Дуэль... Моряки и без того каждый день рискуют, можно сказать, жизнью и не боятся смерти, когда нужно, а... тут иди под пулю?.. Мы, Петр Васильич, будем убеждать Сойкина... Уговорим...

Петр Васильевич рассказал, что придумал капитан, и штурман воскликнул:

— И того умней! Брандахлыста на берег, а Сойкина продержат под арестом... Уйдем из Батавии, и делу конец.

— А все-таки... вы понимаете... какая история...

— Ну что ж?.. История... Не вернешь ее... Извините, Петр Васильич, что я скажу?

— Говорите, Афанасий Петрович...

— Очень уж вы того... добры сверх положения. По-евангельски не всегда можно-с... Бла-

женны миротворцы, положим, Петр Васильич... Но только — извините — побольше бы давали “ассаже” [5] хлыщу Байдарову, он бы...

Петр Васильевич покраснел до волос. Смешался вдруг и старый штурман.

Оба знали, что красавец Байдаров был одно время любимцем Лидии Викторовны.

— Что ж, обрывай я его, он подумал бы, что я из личности! — проговорил старший офицер. — Эх, скорей бы в Батавию, Афанасий Петрович!

— Все слава богу. — И Афанасий Петрович, суеверный, как все штурмана, сплюнул. — Ветер молодчага... Если так пойдет... разведем пары у экватора и... через пять суток и в Батавии... И письмо от Лидии Викторовны получите... И я от своей команды... Стаканчик, Петр Васильич?

— Разве... Выпью и пойду по дипломатической части!

Штурман с каким-то особенным удовольствием налил стакан портеру Петру Васильевичу.

Тот выпил и сказал:

— И как это люди, вроде Байдарова, не мо-

гут в мире жить... Мало ли что бывает, а не поднимай историй... Не обижай людей... Не понимаю этого, Афанасий Петрович.

— То-то оттого и с правилами... Дай бог удачи...

VII

Когда Петр Васильевич вошел в маленькую каюту, у двери которой стоял часовой с ружьем, Сойкин сидел на койке и набрасывал какой-то рисунок.

— Ну вот и я к вам, батенька, посланником от капитана... Эка карандаш...

— Вы меня извините, Петр Васильевич...

— Эх, вы... Еще извиняетесь... Может быть, мне извиниться, что допустил... Ну... милый человек... А так ли не так ли, а вы извинитесь...

Сойкин переменялся в лице.

— Нехорошо, Степан Ильич... Вы оскорбили и повиниться не хотите?..

— Трудно, Петр Васильич...

— Положим, Байдаров нехорошо поступил... травил... пакости говорил...

— Это я бы еще снес, Петр Васильевич. Я ведь выносливый... Не хотел скандала... Но этого не вынес...

— А чего?

— Он, право, подлец... Можете себе представить... Он одну мерзость сказал за обедом

про одну даму... А я... я... хорошо знаю эту даму... Она... Она... благороднейшая и лучшая женщина, которую я знал... И он знал, что она моя хорошая знакомая, а все-таки... Понимаете? И ведь все подло лгал... Эта дама отвергла его... так он мне мстить выдумал... Ну, все... все меня и заставило ударить его, Петр Васильевич... Так посудите... Могу ли я извиняться?..

Голос Петра Васильевича звучал так нежно и грустно, когда он ответил:

— И все-таки должны... Ради этой самой женщины должны... Разве это расправа... Эх, дорогой юноша, труднее бывают вещи, и все-таки... правильнее не платить за скверное скверным...

Старший офицер еще говорил, рассказывая в третьем лице нечто похожее на прежнее свое положение, и Сойкин наконец согласился...

— Спасибо... Не надо ли чего?.. Лимонад от меня требуйте...

Через минуту Петр Васильевич стучался в двери каюты Байдарова.

— Войдите!..

Байдаров сидел у шифоньерки и писал письмо.

Он обернулся и, увидав старшего офицера, встал.

Его лицо дышало злобой, страданием и решимостью.

— Что прикажете? — резко спросил он старшего офицера.

Петр Васильевич, смущенный, словно виноватый, передал совет капитана списаться в Батавии с корвета и прибавил, что Сойкин хочет извиниться перед Николаем Николаевичем при всех товарищах в кают-компании.

Оба они не глядели друг на друга.

— Я и без приказания капитана спишусь с корвета. А извинения Сойкина не желаю! — ответил Байдаров. И, помолчав, прибавил: — Это, верно, ваша идея моего удовлетворения?

— И моя, Николай Николаич.

— Я так и думал. Вы ведь недаром необыкновенно христиански терпимы. Об этом весь Кронштадт знает! — прибавил Байдаров и засмеялся.

Петр Васильевич выскочил из каюты, ужаленный в самое сердце.

В тот же вечер капитан приказал снять часового, и Сойкин находился под домашним арестом. К нему заходили многие офицеры.

Зашли к арестованному Петр Васильевич и Афанасий Петрович.

Старший офицер сообщил, что Байдаров извинением не удовлетворился.

— И черт с ним! — вставил старший штурман.

— Байдаров, конечно, вызовет вас на дуэль в Батавии, Степан Ильич.

— А вы откажетесь, Степан Ильич? — заметил Афанасий Петрович.

— Разумеется, должен отказаться! — говорил старший офицер.

Молодой человек взволнованно сказал:

— Я не откажусь... Я не позорный трус!

— Вас не выпустят в Батавии из каюты. И сидите...

Оба стали убеждать молодого человека.

Сойкин колебался.

VIII

Все на корвете спали, кроме вахтенного офицера и вахтенных.

Ветер был свежий. “Отважный” нес марсели в два рифа, зарифленные грот, фок и кливера.

Петр Васильевич спал в своей каюте полураздетый, чтобы в минуту выбежать наверх, если ветер засвежеет...

В одной из кают в кают-компании сидел Байдаров и осматривал два корабельные одноствольные заряженные пистолета, которые он только что принес тихонько из палубы. Заряжены они были для стрельбы в цель после полудня, но стрельба была отменена.

При мысли об оскорблении он вздрагивал, и злоба видимо охватила его.

И он написал следующую записку:

“Оскорбление должно быть смыто кровью. Предлагаю через час драться на матросских пистолетах в моей каюте (она больше вашей). Секундантов не нужно. Выстрел после счета “три” того, на кого выпадет жребий. Если несогласны, убью вас, как собаку”.

Байдаров разбудил дремавшего дежурного вестового и велел ему разбудить Сойкина и отдать записку.

Сойкин сладко спал, когда вестовой его разбудил.

Полусонный стал читать он записку у свечи, зажженной вестовым, и сон вдруг пропал. Сердце упало. Он почувствовал холод, пробежавший, словно струйка, по спине, и ноги стали свинцовыми. Глаза впились в клочок бумажки, и буквы, казалось, увеличивались в гигантские буквы и подвигались на него... Тоска охватила его, и губы шептали: “зачем?..”

Иллюминатор то опускался, то поднимался, вода слегка гудела, обливая иллюминатор и рассыпаясь алмазными брызгами на серебряном лунном свете... Переборки каюты поскрипывали.

Прошла минута.

— Будет ответ, ваше благородие? Лейтенант беспременно требуют.

Сойкин очнулся.

В голове его мелькнула мысль: “Отказаться!..”

Глаза снова читали: “убью, как собаку!”

И Сойкин черкнул на записке: “согласен”, сунул ее в руку вестового, точно хотел скорей избавиться от этого клочка, принесшего смерть, быстро оделся, закрыл на ключ двери и стал торопливым, нервным почерком писать письма. Одно матери, другое той женщине, из-за которой главным образом дал оплеуху. Письма начинались: “я буду убит”... Он был уверен, что живет последний час, и рыдания душили его...

Склянки пробили шесть ударов — три часа утра.

Сойкин бросился на колени перед образом, вскочил и с последним ударом колокола вошел в каюту Байдарова.

— Протокол подпишите! — чуть слышно проговорил тот.

В неподвижном тяжелом взгляде Байдарова Сойкин читал смерть. Он отвел глаза и покорно подписал что-то, не читая.

— Выбирайте...

“Узелок — смерть”, — подумал Сойкин и вытащил узелок.

— Вам выбирать место и считать до трех...
Одному у двери, другому у иллюминатора.

— У дверей...

С этими словами Байдаров подал два пистолета.

— Берите!

Сойкин взял правый.

— Взведите!

Курок щелкнул.

— На место!

Байдаров говорил повелительно и шепотом. Эта слабо освещенная одной свечой каюта в четыре шага длины казалась клеткой убийства. И сам Байдаров — убийцей...

“За что же меня убивать?” — хотелось сказать Сойкину, и броситься вон, и звать на помощь.

Но вместо этого он стал у двери.

— Наведите пистолет!

Сойкин навел свой пистолет в угол каюты.

Байдаров навел на грудь Сойкина.

— Стреляйте в меня... Я все равно буду в вас стрелять.

Сойкин молчал.

— Считайте!

Вздрагивающим голосом, медленно, оттягивая темп, считал Сойкин:

— Раз... два... три...

Раздались два выстрела.

Сойкин жалобно вскрикнул и медленно склонился, схватывая рукою грудь, и упал в раскрывшиеся двери.

Петр Васильевич выбежал из каюты, подбежал к раненому и поднял его голову на грудь.

— Дуэль... Убит!.. — коснеющим языком проговорил Сойкин, и глаза его потускнели...

Сбежавшиеся офицеры стояли потрясенные.

Старший офицер бережно опустил покойника, поцеловал его в губы и смотрел ему в лицо.

Впервые — в приложении к журналу “Нива”, 1901, № 9, с подзаголовком: “Из далекого прошлого”. Включено в сборник “На “Чайке” и другие морские рассказы”, М., 1902.

Примечания

1

Фунчаль(Фуншал) — город-порт на острове Мадейра в Атлантическом океане.

[^^^]

2

Рио — Рио-де-Жанейро — город в Бразилии, расположенный на берегу бухты Гуанабара Атлантического океана.

[^^^]

баловень (франц.).

[^^^]

4

Брест — город-порт на западе Франции.

[^^^]

5

...давали “ассаже”... — то есть осадили бы, образумили.

[^^^]